На пороге растерянности

Мишель Уэльбек

SHOUT
SHARE IT

- Мишель Уэльбек
  - Современная архитектура как вектор ускорения перемещений
  - Строить торговые стеллажи
  - Упростить расчеты
  - Краткая история информатики
  - Признаки усталости
  - Мир как супермаркет и насмешка
  - Поэзия остановленного движения

Мишель Уэльбек
На пороге растерянности

Я сражаюсь против идей,
в самом существовании которых
я не уверен.

Антуан Вештер

Современная архитектура как вектор ускорения перемещений

Известно, что широкая публика не любит современное искусство. Однако этот очевидный факт на самом деле отражает две противоположные позиции. Случайно оказавшись там, где выставлены произведения современного художника или скульптора, среднестатистический европеец непременно остановится перед ними — хотя бы для того, чтобы похихикать. Его позиция по отношению к увиденному будет колебаться между иронической улыбкой и откровенным глумлением, но в любом случае он испытает желание осмеять увиденное; сама ничтожность этих произведений станет для него успокоительной гарантией их безвредности; конечно, это отнимет у него время, но, в сущности, не доставит особого неудовольствия.

А вот в окружении современной архитектуры прохожему будет не до смеха. При соответствующих условиях (поздно ночью или под завывание полицейских сирен) у людей можно наблюдать четко выраженное состояние тревоги, с усилением секреторной деятельности организма. Во всяком случае, функциональный комплекс, отвечающий за ориентировку на местности: органы зрения, опорно-двигательный аппарат, — перейдет в режим повышенной готовности.

Так бывает, когда туристический автобус, заблудившись среди чужестранных дорожных указателей, выгружает пассажиров в банковском квартале Сеговии или в деловом центре Барселоны. Оказавшись в привычном мире стали, стекла и светофоров, туристы сразу обретают быстрый шаг, твердый и наблюдательный взгляд, которые привычно соответствуют данной окружающей среде. Ориентируясь по картинкам и надписям, они вскоре добираются до исторического центра города, до соборной площади. Их походка тут же замедляется, взгляд делается неуверенным, почти блуждающим. На лице появляется выражение изумления и растерянности (симптом разинутого рта, характерный для американцев). Эти люди явно оказались перед необычными, сложными для их понимания визуальными объектами. Вскоре, однако, они обнаруживают на стенах пояснительные надписи; благодаря усилиям местной туристической службы историко-культурные ориентиры восстановлены; теперь наши путешественники могут доставать видеокамеры, дабы запечатлеть на память свои перемещения в размеченном культурном пространстве.

Современная архитектура ненавязчива; о своем присутствии — присутствии в качестве архитектуры как таковой — она сообщает деликатными намеками; обычно это скромная информация рекламного характера относительно технических средств, с помощью которых она создается (так, нам зачастую очень хорошо видны механизм, управляющий лифтом, и название фирмы-производителя).

Современная архитектура функциональна; впрочем, все проблемы эстетики в данной области давно были вытеснены формулой: «То, что функционально, — красиво по определению». Это утверждение, во-первых, поражает своей тенденциозностью, а во-вторых, сплошь и рядом опровергается наблюдениями над природой: ведь природа учит нас, что красота — своего рода реванш, взятый у разума. Если мы любуемся созданиями природы, то нередко именно потому, что они не имеют никакого разумного назначения, не отвечают никаким мыслимым критериям полезности. Они множатся вокруг нас в необычайном изобилии и разнообразии, очевидно побуждаемые к этому внутренней силой, которую можно определить как простое желание жить, простое стремление к воспроизводству; сила эта, в сущности, непостижима для нас (вспомним хотя бы о неистощимой изобретательности животного мира, причудливой и порой даже слегка отталкивающей), но заявляет о себе с подавляющей очевидностью. Правда, некоторые неодушевленные создания природы (кристаллы, облака, гидрографические сети) кажутся подчиненными некоему принципу термодинамической оптимальности; однако таковы как раз явления самые многосложные из всех. Ничто в них не напоминает работу рационально устроенной машины, скорее уж процесс с характерным для него хаотичным клокотанием.

Достигнув совершенства в создании конструкций столь высоко функциональных, что они становятся невидимыми, современная архитектура стала архитектурой прозрачной. Будучи призвана обеспечить быстроту передвижения людей и товаров, она стремится очистить пространство, свести его к одним лишь геометрическим параметрам. Поскольку его должны пронизывать непрерывные потоки текстовых, визуальных и пиктографических сообщений, ее задача — сделать их максимально удобными для восприятия (полную доступность информации можно обеспечить только в абсолютно прозрачном помещении). Что же касается немногочисленных сообщений, то по неумолимому закону консенсуса им отведена роль строго объективной информации. Так, содержание огромных панно, установленных по обочинам автотрасс, стало итогом долгой и кропотливой работы.

Проводились широкие социологические исследования: нельзя было допустить, чтобы какая-то надпись задела чувства той или иной категории потребителей; привлекались для консультации психологи и специалисты по безопасности движения — и все это для того, чтобы создать тексты типа «Руан» или «Пруды».

Вокзал Монпарнас являет нам образец прозрачной, ничего не таящей архитектуры, в нем соблюдено необходимое и достаточное расстояние между светящимися табло с расписанием поездов и электронными билетными автоматами, с вполне оправданной избыточностью размещены указатели направления к нужным платформам, — иначе говоря, вокзал позволяет западному человеку со средним или выдающимся интеллектом добиться желаемого перемещения в пространстве, сведя к минимуму толкучку, дорожную суету, потерю времени. Если сказать шире, то вся современная архитектура — не что иное, как громадное приспособление, позволяющее людям ускорить и упорядочить их перемещения; в этом смысле ее идеальным воплощением следует считать дорожную развязку в районе Фонтенбло и Мелёна.

А если попытаться вникнуть в назначение архитектурного ансамбля, известного под именем «Дефанс», то его можно определить как приспособление для повышения продуктивности, индивидуальной производительности каждого отдельного человека. Этому параноидальному взгляду на вещи нельзя отказать в известной точности, но все же он не объясняет, почему архитектура с таким однообразием отвечает на самые разные потребности общества (гипермаркеты, ночные клубы, офисные здания, культурные и оздоровительные центры). Зато мы сумеем кое-что понять, если будем исходить из того, что у нас не просто рыночная экономика, а рыночное общество, то есть такая цивилизация, в которой вся совокупность человеческих взаимоотношений, а равным образом и вся совокупность отношений человека с миром рассматриваются сквозь призму простого цифрового подсчета, учитывающего такие категории, как привлекательный вид, новизна, соотношение цены и качества. Согласно этой логике, подчиняющей себе как собственно отношения купли-продажи, так и отношения эротические, любовные, профессиональные, необходимо стремиться к установлению быстро обновляющихся связей (между потребителями и товарами, между служащими и фирмами, между любовниками), а значит, добиваться быстроты и легкости потребления, основанных на этике ответственности, открытости и на свободе выбора.

Строить торговые стеллажи

И вот современная архитектура негласно ставит себе цель, которую можно определить так: выстроить торговые стеллажи для тотального гипермаркета. Как же она этого добивается? Во-первых, в эстетике старается ни на шаг не отступать от своего идеала — этажерки, а во-вторых, предпочитает использовать материалы со слабо шероховатой или просто гладкой поверхностью (металл, стекло, пластик). Использование прозрачных или отражающих поверхностей позволяет вдобавок нужным образом умножить количество стендов, где выставляется товар. В общем, речь идет о создании разных по форме, но одинаково безликих и легко изменяемых конструкций (та же тенденция прослеживается и в оформлении интерьеров: оборудовать квартиру в последние годы нашего века значит прежде всего сломать в ней стены, заменив их подвижными перегородками — которые никто не станет двигать, поскольку это никогда не понадобится, но важно то, что создана возможность перемещения, а значит, достигнут новый уровень свободы, — и избавиться от постоянных элементов оформления: стены должны быть белыми, мебель — прозрачной). Создаются лишенные каких-либо отвлекающих особенностей помещения, где можно на виду, без помех размещать информативно-рекламные сообщения, порожденные коммерческой деятельностью и, по сути, эту деятельность составляющие. Ибо что производят служащие и специалисты в небоскребах Дефанс? Конкретно говоря, ничего; сам процесс производства материальных ценностей для них — тайна за семью печатями. Обо всех предметах и событиях в мире они узнают через цифры. Эти цифры становятся сырьем для статистики и расчетов; на их основе вырабатываются модели, намечаются проекты; наконец, принимаются те или иные решения, и в информационное поле общества вбрасываются новые данные. Так живой, осязаемый мир подменяется набором цифр, а реальная жизнь — схемами и графиками. И современные здания соответствуют непрерывному потоку наполняющей их информации: они многоцелевые, безликие, легко делятся на части, из которых потом можно сложить целое. Они не могут иметь какое-либо самостоятельного значения, не могут создавать какую-либо атмосферу; они также не могут обладать ни красотой, ни поэтичностью, ни вообще какими бы то ни было индивидуальными особенностями. Только так, в отсутствие характерных и неизменных свойств, они могут принять в себя бесконечный наплыв преходящего.

Современные служащие, с их готовностью меняться, приспосабливаться, отзываться на все новое, подвергаются такому же процессу обезличивания. Новейшие и очень модные курсы по переквалификации ставят себе целью создание бесконечно изменчивых личностей, лишенных какой-либо интеллектуальной или эмоциональной устойчивой сущности. Освободившись от ограничений, которые накладывают убеждения, принадлежность к определенному кругу, твердые правила поведения, современный человек готов занять свое место во вселенской системе торговых сделок, где ему будет — вполне открыто — присвоена определенная меновая стоимость.

Упростить расчеты

Постепенный перевод всей деятельности социума в числовое измерение, так далеко продвинувшийся в Соединенных Штатах, в Западной Европе начался с большим опозданием, о чем свидетельствуют романы Марселя Пруста. Понадобились долгие десятилетия, чтобы полностью развеять предрассудки, традиционно придававшие различным профессиям возвышенный (служение Церкви, преподавание) либо позорный (реклама, проституция) смысл. Когда этот процесс закончился, стало возможным установить точную иерархию различных социальных статусов, пользуясь двумя простыми численными параметрами: годовой доход и количество отработанных часов.

Если говорить о любви, то критерии сексуального отбора также долгое время были основаны на чисто субъективных, ничем не подтвержденных впечатлениях. И опять первая серьезная попытка выработать твердые стандарты была сделана в Соединенных Штатах. Новая система оценки, основанная на элементарных, объективно проверяемых данных (возраст-рост-вес плюс объем бедер-талии-груди у женщин; возраст-рост-вес плюс длина и толщина полового члена при эрекции у мужчин), впервые заявила о себе в порноиндустрии, а затем была подхвачена женскими журналами. И если упрощенная социальная иерархия долгое время вызывала спорадические противодействия (движения в защиту «социальной справедливости»), то иерархия эротическая, как более близкая к природе, быстро утвердилась в обществе.

Получив возможность оценить самих себя с помощью несложного набора числовых показателей, освободившись от проблем бытия, которые долгое время мешали быстрому и легкому течению мысли, западные люди — во всяком случае молодые — смогли приспособиться к прорывам в технологии, которые вызвали в обществе масштабные экономические, психологические и социальные перемены.

Краткая история информатики

К концу Второй мировой войны в связи с отработкой траекторий для полета тактических и стратегических ракет, а также с опытами по расщеплению атомного ядра возникла настоятельная необходимость в высокоточных математических расчетах. И вот, отчасти благодаря теоретическим трудам Джона фон Неймана, на свет появились первые компьютеры.

В то время стандартизация и рационализация труда уже прочно закрепились в промышленности, но еще не успели добраться до офисов и контор. Когда же были установлены первые компьютеры для обработки документов, всякой свободе и гибкости в управленческой деятельности пришел конец: для класса служащих это обернулось внезапной пролетаризацией.

В те же годы писатели Европы совершили до смешного запоздалое открытие: у них появилось новое орудие труда — пишущая машинка. Вместо привычного процесса работы над рукописью во всем его бесконечном разнообразии (вставки, отсылки, заметки на полях) возникло одномерное и бесцветное письмо, взявшее за основу схемы детективного романа и американского журнализма (рождение мифа об «ундервуде» — успех Хемингуэя). Престиж литературы заметно упал, что побудило многих молодых людей с «творческим» складом ума избрать для себя более благодарный вид деятельности — кино или сочинение песен (однако оба эти пути, как оказалось, вели в тупик; вскоре американская индустрия развлечений начала свою разрушительную работу в местных индустриях развлечений — работу, завершение которой мы видим сегодня).

Появление в начале восьмидесятых годов персонального компьютера позволительно рассматривать как историческую случайность; поскольку оно не было вызвано никакой экономической необходимостью, его можно объяснить разве что успехами, достигнутыми в микроэлектронике. У клерков и управленцев среднего звена неожиданно появилось мощное и простое в обращении устройство, которое помогло им снова — если не официально, то фактически — взять основной объем работы под свой контроль. Несколько лет шла необъявленная война между руководителями фирм и «конечными» пользователями, за которыми иногда стояли группы программистов — убежденных сторонников персонального компьютера. Наконец, приняв во внимание слабую эффективность и дороговизну больших машин и, с другой стороны, понимая, что массовое производство персональных компьютеров наполнит

офисы надежной и дешевой оргтехникой, руководители все же сделали выбор в пользу «персоналок».

Писателю персональный компьютер принес нежданную свободу: конечно, за ним нельзя трудиться так тщательно и так вдохновенно, как за письменным столом, но все-таки возникла возможность серьезно работать над текстом. В этот период по некоторым признакам можно было сделать вывод, что у литературы появился шанс отчасти вернуть себе былой авторитет — но не столько благодаря собственным заслугам, сколько из-за угасания конкурирующих видов деятельности. Под мощным нивелирующим воздействием телевидения рок-музыка и кинематограф постепенно утратили свою магию. Различия между фильмами, клипами, новостями, рекламой, актуальными интервью и репортажами стали постепенно стираться, и родился новый жанр — универсализированного зрелища.

В девяностые годы появление оптико-волоконной связи, новые промышленные стандарты в информатике сделали возможным создание компьютерных сетей сначала внутри фирм, потом между фирмами. Превратившись в простую рабочую единицу в системе надежной связи между клиентами и сервером, персональный компьютер утратил власть над бюрократическими процедурами. Они вновь оказались подчинены централизованной системе обработки данных — мобильной, широкоохватной, высокоэффективной.

Хотя персональные компьютеры повсеместно утвердились в фирмах и офисах, мало кто хотел установить их дома — по причинам, которые впоследствии были выявлены и изучены (они дорого стоили, не приносили ощутимой пользы, и за ними трудно было работать лежа). Но в конце девяностых годов были созданы первые пассивные терминалы для выхода в Интернет; не имевшие ни процессора, ни памяти, а потому стоившие очень дешево, они были предназначены для доступа к гигантским базам данных, созданных американской индустрией развлечений. Снабженные электронной системой оплаты, на сей раз вполне надежной (по крайней мере, так уверяли поставщики), красивые и компактные, они быстро стали неотъемлемой частью каждого дома, заменив одновременно мобильный телефон, минитель и пульт дистанционного управления телевизором.

Вопреки ожиданиям, книга оказала стойкое сопротивление. Были попытки публиковать литературные тексты в Интернете, но интерес вызвали только энциклопедии и справочники. Через несколько лет пришлось признать: публика по-прежнему отдает предпочтение печатной книге, как более практичной, более привлекательной внешне и более удобной в обращении. Между

тем каждая купленная книга становилась опасным разрывом в цепи, нарушала целостность системы. В таинственных лабиринтах нашего мозга литература нередко брала верх над самой реальностью, так что виртуальные миры ничем ей не угрожали. Начался странный, парадоксальный процесс, который длится по сей день: параллельно с глобализацией в сферах развлечений и деловых обменов — сферах, где речь занимает весьма ограниченное место, — усиливается роль национальных языков и культур.

Признаки усталости

В политическом плане противодействие процессу либерально-экономической глобализации началось уже довольно давно: с референдума по поводу присоединения к Маастрихтским соглашениям, который происходил во Франции в 1992 году. Развернулась целая кампания, чтобы побудить французов сказать «нет»: не столько во имя национальной гордости или республиканского патриотизма — и то и другое исчезло в Верденской мясорубке 1916–1917 годов, — сколько от всеобщей глубокой усталости и чувства противоречия. Как все радикальные политические течения в истории, экономический глобализм заявлял о себе как о неизбежном будущем человечества. Как все радикальные политические течения в истории, экономический глобализм настаивал на ослаблении и преодолении естественного нравственного чувства во имя будущего человечества, смутно виднеющегося где-то вдали. Как все радикальные политические течения в истории, экономический глобализм предлагал современникам терпеть тяготы и страдания, а наступление всеобщего счастья откладывал на два-три поколения вперед. В двадцатом веке подобные теории уже причинили достаточно вреда.

Частое извращение понятия «прогресс» радикальными политическими течениями не могло не способствовать появлению шутовских идей, типичных для периодов растерянности. Опирающиеся, как правило, на Гераклита или Ницше, удобные и понятные для людей со средними и высокими доходами и весьма соблазнительные на первый взгляд, идеи эти, отзывались в менее благополучных слоях общества высвобождением националистических и социальных рефлексов — многоликих, непредсказуемых и необузданных. В последнее время, под влиянием бурно развивающейся математической теории турбулентности, историю человечества принято представлять в виде хаотичной системы, в которой футурологи и философы-публицисты различали один или несколько загадочных центров притяжения, так называемых, странных аттакторов. Не имея никакой методологической базы, эта аналогия все же завоевала популярность в образованных или полуобразованных слоях населения и превратилась в препятствие к созданию новой онтологии.

Мир как супермаркет и насмешка

Артур Шопенгауэр не верил в Историю. Поэтому он умер в убеждении, что его открытие — концепция мира, существующего, с одной стороны, как воля (как желание, как жизненный порыв), а с другой стороны, понимаемого как представление (само по себе нейтральное, чистое, абсолютно объективное, а потому поддающееся эстетическому воспроизведению), — что это его открытие переживет века. Сегодня мы констатируем, что он оказался не совсем прав. Введенные им понятия еще можно распознать в сложной канве наших жизней, но они претерпели такие метаморфозы, что суть их ставится под вопрос.

Слово «воля» означает длительное напряжение, долговременное усилие, сознательно или бессознательно направленное на достижение некоей цели. Конечно, птицы по-прежнему вьют гнезда, олени по-прежнему сражаются за самок; рассуждая в духе Шопенгауэра, можно сказать, что это один и тот же олень сражается, одна и та же личинка зарывается в почву с того самого несчастного дня, когда они впервые появились на Земле. Однако у людей все совсем иначе. Логика супермаркета предусматривает распыление желаний; человек супермаркета органически не может быть человеком единой воли, единого желания. Отсюда и некоторое снижение интенсивности желаний у современного человека; не то чтобы люди стали желать меньше, напротив, они желают все больше и больше, но в их желаниях появилось нечто крикливое и визгливое: не будучи чистым притворством, желания эти в значительной степени заданы извне — пожалуй, можно сказать, что они заданы рекламой в широком смысле этого слова. Ничто в них не напоминает о той стихийной, могучей силе, упорном, неукротимом стремлении, которые подразумеваются под словом «воля». Отсюда и недостаток индивидуальности, заметный у каждого.

Что до представления, то оно, будучи непоправимо отравлено смыслом, полностью утратило чистоту. Можно считать чистым лишь то представление, которое предлагает себя только как таковое, претендует быть только отображением внешнего мира (реального или воображаемого, но внешнего); другими словами, не включает в себя собственный критический комментарий. Активное внедрение в представления аллюзий, насмешки, интерпретации, юмора быстро привело к выхолащиванию искусства и философии, превратило их в риторику. Любое искусство, как и любая наука, — это средство общения людей друг с другом. Очевидно поэтому, что эффективность и

интенсивность общения снижаются и могут сойти на нет, если возникает сомнение в правдивости сказанного, в искренности изображенного (как, например, представить себе науку, основанную на личных интерпретациях?). Творческое оскудение, которое наблюдается в различных областях искусства, есть не что иное, как оборотная сторона столь характерной для современного общества неспособности к разговору. Ведь современный разговор протекает так, словно прямое выражение чувства, эмоции или мысли стало недопустимым как нечто слишком пошлое. Все должно быть пропущено через деформирующий фильтр юмора — юмора, который в конце концов самоистощается, оборачиваясь трагической немотой. Такова и история пресловутой «некоммуникабельности» (следует отметить, что широкая эксплуатация этой темы нисколько не помогла в борьбе с некоммуникабельностью, которая сейчас распространена как никогда, хотя людям уже порядком надоело рассуждать о ней), и трагическая история живописи в XX веке. Эволюция современной живописи стала в некотором смысле отражением эволюции коммуникабельности — речь идет не о прямой аналогии, а скорее о некоем сходстве атмосферы. В обоих случаях мы оказываемся в нездоровой, насквозь фальшивой атмосфере, где все смехотворно и где самая смехотворность в итоге вырастает в трагедию. Поэтому среднестатистический европеец, оказавшийся в картинной галерее, не должен задерживаться там слишком долго, если хочет сохранить свое ироническое безразличие. Уже через несколько минут им овладеет легкое смятение; во всяком случае, он ощутит некий дискомфорт, беспокойство, пугающее исчезновение чувства юмора.

(Трагизм возникает именно в этот момент, когда смехотворное перестает осознаваться как fun; это своего рода психологический сдвиг, который означает появление у человека непреодолимой тяги к вечности. Рекламе удается избежать этого нежелательного для нее эффекта только с помощью непрестанного обновления обманчивых образов; живопись же продолжает выполнять свою миссию — создавать вещи долговременные, наделенные подлинностью; эта тоска по истине бытия и придает ей ореол страдания и в итоге превращает ее в верное отражение того состояния духа, в котором пребывает западный человек.)

А вот литература в тот же период находится в относительно добром здравии. Это легко поддается объяснению. Литература по сути своей — искусство концептуальное; строго говоря, это единственный вид искусства, который действительно можно назвать концептуальным. Слова — это концепты; штампы — это

тоже концепты. Нельзя ни утверждать, ни отрицать, ни подвергать сомнению или осмеянию что бы то ни было без помощи концептов и без помощи слов. Отсюда и удивительная живучесть литературы — она может самоопровергаться, самоуничтожаться, объявлять себя несуществующей, не переставая при этом быть самой собой. Она выдержит любое погружение в бездну, любую деконструкцию, любое наслоение интерпретаций, сколь угодно тонких; она просто отряхивается и снова встает на лапы, точно собака, вылезающая из пруда.

В противоположность музыке, в противоположность живописи и кино, литература способна проглотить и переварить насмешку и юмор в неограниченном количестве. Опасности, подстерегающие литературу сегодня, не имеют ничего общего с теми, что подстерегали другие искусства, а порой и наносили им непоправимый вред; эти опасности скорее связаны с акселерацией восприятий и ощущений, характерных для логики гипермаркета. В самом деле, ведь книгу можно оценить только постепенно; она требует обдумывания (тут важно не столько интеллектуальное усилие, сколько возвращение назад); не бывает чтения без остановки, без движения вспять, без перечитывания. Это невозможно, даже абсурдно в мире, где все изменчиво, все текуче, ничто не имеет непреходящей ценности — ни правила, ни вещи, ни люди. Изо всех сил (а силы у нее когда-то были могучие) литература противится идее перманентной актуальности, абсолютизации настоящего времени. Книги ждут читателей; но у этих читателей должно быть собственное стабильное существование; они не могут быть просто потребителями, безликими тенями; они в каком-то смысле должны быть субъектами.

Измученные трусливой манией «политкорректности», замороченные потоком псевдоинформации, который создает иллюзию постоянного изменения жизненных категорий (мы якобы уже не можем мыслить так, как мыслили десять, сто, тысячу лет назад), современные западные люди больше не в состоянии быть читателями; они уже неспособны ответить на призыв раскрытой перед ними книги: быть просто человеческими существами, мыслящими и чувствующими самостоятельно.

Тем более они не могут играть эту роль перед другим существом. А следовало бы. Ибо такое оскудение личности по сути — трагедия: каждый, испытывая мучительную тоску, продолжает требовать от другого то, что тот уже не в силах дать; точно бесплотный, безглазый призрак, человек ищет в другом полновесность бытия, которую уже не находит в себе. Устойчивость, постоянство, глубину. Ищет, но, разумеется, не

находит, и муки одиночества, которые он испытывает, невыразимы.

Смерть Бога на Западе стала прелюдией к грандиозному метафизическому сериалу, который продолжается и в наши дни. Любой специалист по истории идей может подробно воссоздать этапы этого процесса; коротко говоря, христианство мастерски ухитрялось сочетать в душе человека исступленную веру — по сравнению с Посланиями апостола Павла вся культура античности кажется нам сегодня до странности вялой и тусклой — с надеждой на вечное приобщение к абсолютному Бытию. Когда эта вера угасла, делались многочисленные попытки дать человеку надежду хоть на какой-то минимум бытия, чтобы примирить мечту о бытии, которая жила в его душе, с непрерывным становлением. До сих пор все эти попытки оказывались безуспешными, и беда продолжала распространяться.

Последняя по времени попытка — реклама. Хоть она и ставит себе целью возбудить, разжечь желание, самой превратиться в желание, все ее методы по сути весьма близки к тем, что характерны для морали прошлого. Ибо она вырабатывает некое грозное и властное сверх-Я, которое беспощаднее любого когда-либо существовавшего императива, которое не отпускает человека и непрестанно твердит ему: «Ты должен желать. Ты должен быть желанным. Ты должен участвовать в общей гонке, в борьбе за успех, в кипучей жизни окружающего мира. Если ты остановишься — перестанешь существовать. Если отстанешь — погиб». Начисто отрицая понятие вечности, определяя самое себя как процесс непрестанного обновления, реклама стремится к подавлению субъекта, к превращению его в бесплотный, на глазах меняющийся фантом. И это формальное, поверхностное участие в жизни призвано заменить в человеке жажду бытия.

Реклама не справляется со своей задачей, люди все чаще впадают в угнетенное состояние, все сильнее чувствуется общее смятение; однако реклама продолжает создавать структуры для принятия ее сообщений. Продолжает совершенствовать средства передвижения для людей, которым некуда ехать, потому что они нигде не чувствуют себя дома; создавать новые средства связи для существ, которым уже нечего сказать друг другу; облегчать контакты между существами, которым уже не хочется общаться с кем бы то ни было.

Поэзия остановленного движения

В мае шестьдесят восьмого года мне было десять лет, я играл в шарики и читал комикс про собачку Пифа; приятная была жизнь. О «событиях шестьдесят восьмого» у меня осталось единственное, но весьма яркое воспоминание. Мой кузен Жан-Пьер учился тогда в выпускном классе лицея в Ле-Ренси. В то время мне казалось (и последующий опыт оправдал это предчувствие, добавив еще и тягостные сексуальные впечатления), что лицей — это такое огромное, наводящее жуть помещение, где большие мальчики изо всех сил зубрят разные трудные предметы, чтобы обеспечить себе профессиональную карьеру в будущем. Как-то в пятницу, не помню уж почему, мы с тетей зашли за кузеном после уроков. В тот день в лицее Ле-Ренси объявили бессрочную забастовку. Двор, который, по моим ожиданиям, должны были заполнить сотни деловитых подростков, оказался пуст. Какие-то учителя, не зная, чем заняться, бродили между гандбольными воротами. Помню, я несколько минут разгуливал по этому двору, пока тетя пыталась хоть что-нибудь выяснить. Там царил глубочайший покой, стояла абсолютная тишина. Это было восхитительно.

В декабре восемьдесят шестого года я застрял на вокзале в Авиньоне. Погода стояла мягкая. Из-за осложнений в личной жизни, рассказ о которых вышел бы слишком скучным, мне было необходимо — во всяком случае, я так думал — сесть на скоростной поезд в Париж. Я не знал, что на всех железных дорогах началась забастовка. Запрограммированная цепочка: сексуальный контакт, развитие отношений, усталость — вдруг нарушилось. Два часа я просидел на скамейке, глядя на безлюдное полотно железной дороги. Поезда стояли на запасных путях. Казалось, будто они стоят там уже много лет, будто они никогда и не катились по рельсам. Просто стояли себе неподвижно — и все. Пассажиры вполголоса делились друг с другом новостями: обстановка вселяла уныние и неуверенность. Это могла быть война или конец западного мира.

Некоторые люди, наблюдавшие «события шестьдесят восьмого» вблизи, впоследствии рассказывали мне, что это было замечательное время, когда незнакомцы заговаривали друг с другом на улицах, когда все казалось возможным; и я им верю. Другие вспоминают только, что не ходили поезда и нельзя было достать бензин; готов признать, что они правы. Я нахожу во всех этих свидетельствах нечто общее: гигантская, подавляющая машина каким-то чудом застопорилась на несколько дней.

Появилась некая зыбкость, неясность; все замерло в подвешенном состоянии, и по стране разлилось умиротворение. Потом, разумеется, общественная машина завертелась опять, еще быстрее, еще беспощаднее (май шестьдесят восьмого только обрушил некоторые моральные устои, умерявшие ее прожорливость). И все же был какой-то момент остановки, нерешительности: момент метафизической неясности.

Вероятно, по этим же причинам, когда проходит первый прилив раздражения, реакцию публики на внезапный сбой в информационных сетях нельзя расценить как однозначно негативную. Это можно наблюдать всякий раз, как выходит из строя электронная система заказа билетов. Когда люди смиряются с возникшим осложнением, а особенно когда они начинают заказывать билеты по телефону, возникает даже какое-то чувство затаенного удовлетворения, словно судьба дает им возможность взять реванш у техники. Точно так же, если хочется понять, что в глубине души думают люди об архитектуре, среди которой им приходится жить, достаточно понаблюдать за их реакцией, когда объявляют о сносе одного из унылых, безликих жилых кварталов, построенных в шестидесятые годы на окраинах: это искренняя, бурная радость, что-то похожее на опьянение нежданной свободой. В таких местах обитает злой дух, враждебный человеку: дух жестокой, изматывающей машины, с каждым днем ускоряющей ход; люди это чувствуют и хотят, чтобы его изгнали.

Литература уживается со всем, приспосабливается ко всему, она роется в отбросах, зализывает раны, причиненные несчастьем. Среди гипермаркетов и сверхсовременных офисных зданий родилась парадоксальная поэзия, поэзия тоски и угнетенности. Это невеселая поэзия; да ей и не с чего быть веселой. Современная поэзия призвана воздвигать гипотетическое «здание Бытия» не более, чем современная архитектура — созидать обитаемые пространства; ибо это задача, существенно отличающаяся от задачи по созданию инфраструктур для обработки информации. Информация, этот остаточный продукт быстротечного времени, несовместима со значимостью, как плазма — с кристаллом; общество, достигшее «перегрева», не обязательно взрывается, но оно теряет способность создавать нечто значимое, поскольку вся энергия уходит на информативное описание его случайных проявлений. И все же каждому отдельному человеку по силам совершить в себе тихую революцию, на миг выключившись из информационно-рекламного потока. Это очень просто — сегодня даже легче, чем когда-либо в прошлом, — занять эстетическую позицию по

отношению к механическому ритму нашего мира: достаточно сделать шаг в сторону. Хотя в конечном счете не надо даже шага. Достаточно выдержать паузу; выключить радио, выключить телевизор; ничего больше не покупать, не хотеть больше ничего покупать. Больше не участвовать, больше не знать; временно приостановить всякий прием информации. Достаточно просто на несколько секунд замереть в неподвижности.

Перевод Нины Кулиш